Илья ГЕРАСИМОВ

L'ÉTAT, C'EST TOUT:

"История Российского государства" Бориса Акунина и канон национальной истории

Если бы Борис Акунин представил свою "Историю Российского государства" как очередной опыт в серии "Жанры", у историков не было бы оснований для жалоб. Почему бы наряду со "Шпионским романом" и "Детской книгой" не быть "Архаической истории", хорошо стилизованной под письмо младших современников Николая Карамзина и демонстрирующей уровень исторических представлений 1830–40-х годов? Главным героем – автором этого труда, написанного в прямом диалоге с карамзинской "Историей государства Российского" (последний том которой создавался в 1826 г.), мог бы стать, скажем, Фаддей Фингалин, дядя некоего Эраста Фандорина, знакомец Пушкина и Грибоедова, вхожий в кабинет руководителя Третьего отделения Собственной Е. И. В. канцелярии… Какой простор для развития боковых сюжетов, как интересно можно увязать поэтику "Истории" и подход к освещению прошлого с российскими и европейскими реалиями и представлениями первой половины XIX века!

Это было время распространения весьма специфических идей. Прежде всего это период расцвета романтизма и открытия "нации", переосмысленной из революционного народа эпохи наполеоновских войн в органическое "народное тело", существующее почти неизменно на своей "национальной территории" на протяжении столетий. Главный смысл этого практически вечного бытия – становление национально-

го духа, наглядным воплощением чего является развитие государства. Популярные темы в литературе: мистическая связь крови и почвы, совершенствование государственности древними правителями, юность народа, вступающего на тропу Истории навстречу грядущей славе. Как емко сформулировал этот доминантный дискурс эпохи А. Х. Бенкендорф,

> Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана.[1]

Конечно же, как не вспомнить тут и первые кружки московских гегельянцев, воспринявших как высшее откровение каламбур "все действительное разумно", и "триаду" министра народного просвещения С. С. Уварова, сформулированную в 1833 г.:

> Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют собственность России (а каждая земля, каждый народ имеет таковой Палладиум), открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может благоденствовать, усиливаться, жить, — имеем мы три главных: 1) Православная Вера. 2) Самодержавие. 3) Народность.[2]

Те, кто заменял "самодержавие" на "государство", совершали концептуальную новацию, подчеркивая исторический (преходящий) характер самодержавия лишь как одного из возможных воплощений государственности − вечной, как сам народ. А в начале 1840-х годов в Россию прибудет Август Гакстгаузен, который откроет всему миру (и в первую очередь, российскому образованному обществу) мистическую русскую общину, сохранившуюся-де со времен доисторических и дающую надежду избежать ужасы капитализма… В общем, "История Российского государства" нашего Фингалина в итоге предстает колоссальной проекцией на местный материал главных идейных течений посленаполеоновского европейского "безвременья": французской историографии эпохи Реставрации (Франсуа Гизо и Адольфа Тьера)

[1] Сказано в середине 1830-х гг. по поводу "Философического письма" Петра Чаадаева. Цит. по: М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826−1855. Санкт-Петербург, 1909. С. 411.

[2] С. С. Уваров. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения // Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия / Сост. А. А. Ширинянц и И. Ю. Демин. Т. 1. Москва, 2011. С. 304.

и немецкой философии истории от Гердера до Гегеля. Это тот интеллектуальный "замес", из которого в конце XIX века рождается идеал национального государства (нации-государства), а в 1930-е гг. и реализуется на практике через уничтожение всех инородных примесей к "национальному телу", будь то революционная нация пролетариата или арийская германская нация.

Такова власть исторического воображения: воображают прошлое и "творят историю" исходя из одних и тех же представлений. Сами историки могут быть либералами или консерваторами, архивными крысами, скучными писателями и косноязычными лекторами. То, что остается от них (от нас), не перетасованная в очередной раз колода "фактов", а новые способы представления об обществе, даже если речь идет о прошлом тысячелетии. Историки начала XIX века, включая Н. М. Карамзина, совершили величайшую концептуальную революцию: в духе новейших политических и философских взглядов эпохи, они сумели помыслить исторический процесс как историю "народов". "Народ" развивается от примитивного состояния к высокоразвитому, культура – его "душа", залог сохранения единства и связи времен, государство – высшее проявление народного самовыражения, та внешняя форма, которая делает смертных людей бессмертным народом. Как писал Карамзин,

> Победы, завоевания и величие государственное, возвысив дух народа Российского, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управляем дарованием и вкусом Писателя умного, может равняться ныне в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времен. Будущая судьба его зависит от судьбы Государства...[3]

Борис Акунин редактирует это высказывание до лаконичного афоризма: "Россия – это прежде всего государство."[4]

Сам Карамзин успел довести свою "Историю" только до Смутного времени (начало XVII в.), но этого было уже достаточно: он сформировал саму структуру размышления о прошлом России, а значит, и о будущем. Критики и продолжатели Карамзина усовершенствовали и довели до состояния классического канона эту структуру, так называемую "схему русской истории". Она прошита в подкорке любого выпускника советской (и постсоветской – в России) средней школы: наши предки

[3] Н. М. Карамзин. История Государства Российского. Т. 1. Москва, 2003. С. 65.
[4] Борис Акунин. История Российского государства. Москва, 2013. С. 3.

славяне – Киевская Русь – монгольское нашествие/защита Европы от варварства – собирание земель вокруг Москвы – выход к морю – Петр I и преодоление отсталости – крепостническая империя – народная война с Наполеоном – декабристы и освободительное движение – и далее по тексту.

> Государство, именуемое сегодня Российской Федерацией, зародилось в Новгороде, окрепло в Киеве, однако является прямым наследником не новгородской вечевой республики и не киевской монархии, а северо-восточного княжества – одного из ответвлений разъединившейся древнерусской державы.[5]

В этой схеме оценка отдельных эпизодов не имеет принципиального значения: тиран Иоанн IV или мудрый государь (убийца тов. Сталин или эффективный менеджер) – важны не оценки, а сама структура, в которую вписаны эти персонажи, тот язык, которым рассказывается история.

Скрытое влияние языка, которым мы пользуемся, сами того не замечая, считая "естественным" и "объективным" средством описания реальности, проявляется, к примеру, в том, как мы называем политические образования X–XIII вв. между Карпатами и Волгой. Карамзин придумал термин "Киевская Русь", не известный летописцам, писавшим о "Роуской земле", – и мы, не задумываясь, пользуемся им. Киевская Русь "естественно" предполагает, что ей на смену придет Московская Русь как прямой правопреемник ("Малороссия", к примеру, никак не "рифмуется" с "Киевской Русью" и назвать ее адекватным продолжателем "Киевской Руси" буквально "язык не поворачивается"). Столь же "естественно" этот термин заставляет нас видеть в существовании отдельных княжеств печальный феномен "феодальной раздробленности" некогда единого и процветающего государства (конечно же, "привет" от романтического тропа "золотого века"). "Русь" – одна, как же могут быть "на Руси" разные "государства"? Дальше – больше. Былое (изначальное/аутентичное/легитимное) единство "Киевской Руси" должно быть восстановлено по праву исторической справедливости – и Россия со столицей в Санкт-Петербурге, а еще лучше – в Москве выполняет эту историческую миссию. Тысячелетняя история "русского народа", создателя древнего "русославянского" государства,[6] должна увенчаться созданием подлинно народного и не менее "русского" государства. При

---

[5] Там же. С. 295.

[6] См.: Там же. С. 18, 40; и др.

этом, поскольку “наши предки − славяне”, “русскость” является достаточно жестко определенным концептом. Прожив тысячу с лишним лет на “своей” территории, этот “русский народ” – “коренной”, а все прочие – пришлые. Рассуждая в этой логике XIX века, самым последовательным воплощением “исторической миссии” народа явилась бы чистка коренной территории от пришлых, а компромиссом – выработка некоего юридического статуса меньшинств (“инородцев”). Государство – проявление творческого гения народа, залог его сохранения в истории и защиты от посягательств народов-конкурентов в настоящем, несмотря на признаваемые “эксцессы исполнителя” (как говорил Петр Капица, “обижаться можно на жену и любовницу, но не на правительство”[7]). Государство первично по отношению к индивидууму ровно потому, что народ важнее отдельного человека, а государство – это то, что создает народ в высшей стадии коллективного самосознания.

“Схема русской истории” начинается с пасторальной картинки белокурых и голубоглазых хлебопашцев, а заканчивается неизменно и неизбежно официальными портретами великих вождей, одетых по моде эпохи, – в кирасе при шпаге или во френче с трубкой в руке. Если мы верим в существование тысячу лет назад единого “народного тела” на “исторической территории”, мы воспринимаем и современную нацию в тех же “племенных” (расовых) категориях биологического единства и культурного единообразия. Само по себе “прошлое” мало что “детерминирует” (иначе “будущее” отличалось бы от него лишь фасоном платья и дизайном повозок), но вот *представления* о прошлом имеют силу самореализующихся пророчеств. По отношению к настоящему все – в прошлом, а потому будущее мы конструируем путем проецирования представлений о прошлом – вперед.

Человек “неславянской” внешности должен дрожать за свою жизнь в центре столицы России ровно потому, что приметившие его скины учили в школе историю и усвоили “прошитый” в ней взгляд на общество. Если “наши предки − славяне” и Российская Федерация – историческая наследница Киевской Руси, то единственное спасение народа перед лицом экономического кризиса и угрозы мультикультурализма – самозащита через восстановление чистоты “народного тела” и господства на своей земле коренного племени. Поэтому и государство должно оставаться сакральным табу для критики, несмотря ни на что, иначе

[7] Из воспоминаний Анны Алексеевны (Запись и литературная обработка Е. Капицы) // Двадцатый век Анны Капицы. Воспоминания. Письма / Сост. Е. Л. Капица, П. Е. Рубинин. Москва, 2005. С. 351.

распад страны и хаос (как во времена "раздробленности"). Просто некоторые люди демонстрируют последовательность и даже интеллектуальную честность в следовании унаследованной картины мира, не ограничивая себя формальностями хорошего тона, а трудные времена лишь помогают принимать трудные решения. Так, австрийские лидеры II Интернационала могли позволить себе миндальничание с буржуазией в начале XX в., но Ленин и Троцкий после 1917 г. уже считали необходимым последовательно претворять марксистское мировоззрение (общество разделено на враждующие классы, одни бесконечно хороши, другие неизбывно порочны) в политическую практику чисток населения. Гитлер не делал ничего, что не вытекало бы из мировоззрения и языка описания общества вполне академически респектабельных мужей Германии, Франции и России XIX века.

Политические разногласия в рамках классической карамзинской "схемы русской истории" также сводятся к разнице в темпераменте: одни решительнее и последовательнее, другие по этическим соображениям отказываются от каких-то мер, логически вытекающих из разделяемого ими взгляда на исторический процесс. Ивана Грозного ругают либералы и прославляют охранители, но спорят они в рамках общей "схемы русской истории", согласно которой Иван создавал централизованное государство и добывал России "выход к морю". Просто одни считают, что у него были неправильные методы, а другие резонно замечают, что ради благой цели многое можно простить. Проблема не в самом Грозном, а в том, что понимать под "государством" середины XVI в.? Как сам Иван воспринимал свою миссию и свою страну? Как на самом деле выстраивались границы между "своими" и "чужими"? Но эти вопросы не выразить языком и не уловить воображением "схемы русской истории", а значит, их просто нет, – но тогда нельзя задать и параллельных вопросов уже к обществу XXI века: что есть государство (и является ли государством система приватизации функций управления чиновниками всех уровней), ради чего люди живут вместе в одной стране, кто в ней свой, кто чужой? Ответ прописан в первой главе школьного учебника: наши предки (а значит, и потомки) – славяне, живем вместе, потому что мы коренной народ на этой земле, государство есть главный смысл нашего коллективного бытия.

Вот такой интеллектуальный триллер мог бы написать Фаддей Фингалин – о самосбывающихся пророчествах прошлого, реконструируемого историками современности. О восхитительном и смертельно опасном "эросе государства" (выражение П. Б. Струве), культе на-

родничества и глубоко неисторическом восприятии истории эпохой романтизма, законсервированном в господствующей до сих пор “схеме русской истории”.

Но Борис Акунин отнесся к своей миссии историографа с полной серьезностью и не захотел делиться лаврами с вымышленным персонажем-автором, чтобы сохранить дистанцию от текста (а значит, и способность к критическому взгляду). В результате безобидная литературная игра превратилась в очередное переиздание “схемы русской истории”, литературно обработанной для читающей публики 2010-х годов. Облегчение “читабельности” традиционного гранд-нарратива произошло в том числе и за счет уничтожения многочисленных смысловых нюансов, которые делали даже архаичный (по нынешним меркам) текст Карамзина богаче и умнее ремейка, изготовленного за несколько месяцев Акуниным. Фундаментальное отличие оригинала в том, что Карамзин предложил совершенно новый взгляд на историю, легший в основу всех современных идеологий в России, – анархизма и национализма, либерализма и народничества. Акунин ничего нового не предложил, а только довел практически до абсурда основные идеи карамзинской картины мира. Идея “народа” как главного субъекта истории лишилась всякой романтической метафоричности, чтобы стать понятной любому пассажиру в метро: этот “народ” теперь определяется через “этничность” и проявления “национального характера” как в голливудских фильмах про Россию. “Государство” также потеряло карамзинскую амбивалентность (иногда оно использовалось в старом значении “господства”, иногда – как общая идея), отчасти смягчающую в глазах современных обществоведов анахронизм применения этого понятия к примитивным политическим образованиям раннего Средневековья. У Акунина государство – это без всяких оговорок современная система централизованного управления, только названия “должностей” старинные. Язык писателя-романтика Карамзина органицистский (социальные институты предстают в качестве одушевленных живых организмов), но допускающий внутреннее развитие (во времени) и драму (отношений). Акунинский язык не менее эссенциалистский (подразумевающий, что за самым абстрактным понятием стоит материальная “вещь”), но при этом глубоко советский, практически соцреалистический. Архаический структурализм этого языка не способен аналитически описать качественную трансформацию политических институтов в веках (все – “государство”) или изменение восприятия группности (все – “народ”), в отличие даже от наивного романтизма Карамзина,

который допускает развитие "души" (народа и даже государства). Советский эссенциализм, транслируемый Акуниным, представляет собой тупиковую ветвь позитивистской социологии XIX века, одним из источников которой, конечно же, была романтическая и неоромантическая историография эпохи Реставрации. Но именно потому, что Карамзин писал почти два века назад и повлиял на целый спектр идейных течений более позднего времени, а советское обществоведение достигло пика всего несколько десятилетий назад и никакого продуктивного творческого импульса не оказало, – карамзинская "История" вызывает большую симпатию. Впрочем, советский тип восприятия общества имел прямой и наглядный результат в виде распада СССР и Югославии и жесткого "национального" противостояния: всюду обнаруживается горячая вера в приоритет "коренного народа" на "исторической земле" (сербов, эстонцев, чеченцев, татар, русских, грузин и т.п.) и желание иметь "свое", "национальное" государство. Где кажется неприличным вырезать "чужаков", достаточно отказывать им в правах гражданства и праве считаться "своими".

Обсуждать историческую ценность труда Бориса Акунина бессмысленно: автор-литератор не обязан разбираться в тонкостях историографии, к тому же за большинство вопиющих ляпов отвечает старательно воспроизводимая им "схема русской истории" (в версии середины XIX века, в основном еще даже до корректировки С. М. Соловьевым, а тем более В. О. Ключевским). Представленный Акуниным исторический подход скорее имеет значение как наглядное пособие для студентов-первокурсников, как список тезисов и тропов, которые нужно раз и навсегда исключить из интеллектуального обихода. Начиная прямо с первой страницы текста автор гордо заявляет:

> Я не выстраиваю никакой концепции. У меня ее нет. …Я хочу узнать (или вычислить), как было на самом деле (С. 3).

Это хороший повод сразу рассказывать студентам о немецкой исторической школе Леопольда фон Ранке 1820-х гг. с ее программной установкой написания истории "wie es eigentlich gewesen war" ("как действительно было") – и о том, что уже сто лет назад этот подход доказал свою несостоятельность. Заодно преподать азы теории постструктурализма – что-нибудь классическое, старое и не слишком заумное, Ролана Барта 1950-х гг. к примеру, о том, что не бывает текста "без концепции".

В самом начале – даже до того, как объяснить студентам невозможность употребления термина "государство" без сложных оговорок

применительно к политическим образованиям Средневековья (и всю фантастичность названия главки о IX в. “Все готово для государства”), – нужно также решительно запретить им использовать термины “Азия” и “Европа”, которые структурируют схему русской истории в версии Акунина: до монголов – “Часть Европы”, потом – “Часть Азии” (С. 7). А также “Запад” и “Восток” – “современная Россия – плод брачного союза между Западом и Востоком” (С. 345). Это термины ментальной (воображаемой) географии, не имеющие никакого смысла вне анализа риторики эпохи (когда, кто и почему применял их) и получившие знакомые коннотации культурного превосходства/отсталости лишь несколько веков назад.

Ну и, конечно, с самого начала надо показать студентам невозможность использования аналитических категорий “этнос”, “нация” или “раса” в качестве ярлыков реальных социальных групп.

> Пока же многочисленные языческие племена, представлявшие отдельное ответвление арийской расы – литовцы, пруссы, жмудины, куры, латгалы, земгалы, ятвяги и прочие, − никакой политической активности не проявляли (С. 59).
>
> Русская нация в современном понимании этого определения существует четыре или пять столетий (С. 40).
>
> При этом с конца XI века особенно частыми сделались браки с половецкими княжнами, то есть представительницами не просто другой нации, а другой расы (С. 347).
>
> С наименованием нашей страны и ее титульного этноса все очень не просто (С. 94).

Мы можем – в рамках решения определенной исторической задачи – рассматривать коллектив *в качестве* этноса или нации, т.е. объяснять какие-то особенности группового поведения при помощи этих концепций. Сознавая, что невозможно точно определить границы между предполагаемыми этносами (и даже нациями), тем более что археологические данные являются крайне спекулятивным источником реконструкции не то что “этноса”, но и языковой группы и языка, на котором говорили оставившие эти артефакты люди. Транслировать же бредни XIX века про “ответвления арийской расы”, про влияние Леса на формирование тяжелого “национального характера” русских (С. 21), а также разговоры насчет “титульного этноса” “нашей страны”, про двенадцать веков “русославянского этноса” и “четыре или пять столетий” существования русской нации (С. 40) – нужно категорически запретить, даже в шутку. Сами по себе они носят паранаучный характер (нельзя

доказать влияние "леса" на формирование якобы общего психотипа многомиллионной группы людей), а значит, их опровержение столь же неблагодарное занятие, как критика концепции "желтой опасности" или всемирного еврейского заговора.

В общем, поскольку Акунин транслирует состояние популярной историографии первой половины XIX в., нет ничего удивительного, что его книга вобрала в себя все штампы и заблуждения начальных десятилетий профессиональной исторической науки. Удивителен не уровень историописания в "Истории российского государства", а то, что филолог и "детективщик" Акунин поразительно нечуток к текстуальной основе своего повествования и равнодушен к интеллектуальной интриге. Эта нечуткость и нелюбопытство проявляются на протяжении всего текста в значительных эпизодах и в мелочах. Его не смущает, что племя полян жило не в "полях", как он остроумно предполагает, а в лесной полосе (С. 15), а про название племени северян Акунин меланхолично замечает:

> Жители самых восточных земель несколько озадачивающе стали именоваться северянами, а их земля – северской. По поводу этимологии этого названия единого мнения не существует, однако "север" здесь явно обозначал не сторону света, а нечто иное (С.45).

Если бы он разгадал эту шараду – как детективщик и филолог, то выяснились либо ираноязычные корни северян, либо их включенность в степную политическую систему, что, в любом случае, подрывает все "русославянские" фантазии и заставляет увидеть в истории аналитическую проблему, а не пошлую притчу.

Иногда доходит до анекдотических случаев: например, передавая рассказ летописца о переносе князем Олегом центра власти в Киев, Акунин пишет:

> И объявил Олег: "Се будет мать городам русским". Очевидно, эта хрестоматийная фраза была произнесена на каком-то скандинавском диалекте, где слово "город" относится к женскому роду. На славянский лад было бы естественней наречь Киев "отцом русских городов" (С. 107).

Даже не зная о зависимости летописцев от византийских источников более раннего периода, как может филолог не увидеть кальки с греческой "метрополии" (центральный – "материнский" − город)?

Не менее странно, насколько некритически Акунин транслирует летописную историю про Святополка Окаянного, погубившего всех братьев, кроме триумфального Ярослава Мудрого (С. 198-205). Каза-

лось бы, кому как ни ему обратить внимание на давно смущающую историков нелогичность официальной версии событий и неспособность ее выдержать классический тест *cui prodest* (кому выгодно)? Наличие мотива, средств и сомнительного алиби у Ярослава позволяет выдвинуть иную интерпретацию событий, по крайней мере не менее убедительную, чем официальная (и объясняющую куда больше в событиях эпохи). Но, очевидно, "дедуктивный метод" не совместим с поэтикой романтического историописания *a la* 1830-е гг.

В общем, Борис Акунин заслуживает упрека не в том, что он был плохим историком в этой книжке, а в том, что не был хорошим писателем. Он постарался расцветить и очеловечить тот материал, который предоставили в его распоряжение историки – классическую схему русской истории, созданную Карамзиным, критически проработанную Соловьевым и Ключевским, ограненную "Кратким курсом истории ВКП(б)" и доведенную до совершенства академиком Б. А. Рыбаковым. Как выяснилось, "другой истории у нас для писателей нет" – все еще нет. Акунин лишь показал, что извлекает из этой истории непрофессионал, и его книга не кривое зеркало, а увеличительное стекло, выпукло представившее основные стереотипы старой Схемы.

SUMMARY

The former literary scholar Grigory Chkhartishvili, now better known as the popular Russian detective writer under the pen name Boris Akunin, who is also a visible figure in the ranks of the Russian liberal opposition, in 2013 started the ambitious project of writing a multivolume history of Russia. Akunin announces his *History of the Russian State* as an alternative to the new mandatory history textbook currently under preparation by a group of professional historians on the request of President Vladimir Putin. According to Akunin, what sets his history of Russia apart from histories done by competitors is its objectivity: as he explains, he just wants to describe the past "as it actually happened."

Turning to the first volume of Akunin's *History of the Russian State* published in the fall of 2013, Ilya Gerasimov does not discuss its merits as a history study, for it is beyond any professional criticism: Akunin is a pulp fiction writer, whose idea of historical craft corresponds to the standards of the 1820s or 1830s. Rather, Gerasimov uses this opportunity to discuss the influential "canon of Russian history" shared by both "conservative" and "liberal" historians. This canon was formed by the first Russian professional

historian, Nikolai Karamzin in the 1820s, and then perfected by great historians of the late imperial period, the classic Stalinist historical text *History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks): Short Course*, and the academic historiography of the 1970s. Despite conflicting interpretations of individual historical events and figures, all of these historians shared the fundamentally common view of Russian history as the history of "the Russian people" on Russian "historical territory". The history of the state became pivotal to this dominant view of Russian history, as only political institutions offered the necessary sense of continuity and consistency to the millennium-long process. Akunin's *History of the Russian State* provides Gerasimov with an ideal example of the archetypal version of the "canon of Russian history" as understood and thoroughly reproduced by a modern-day educated Russian. Akunin reveals the whole intellectual gestalt of social imagination of the Romantic historiography of the 1820s Restoration epoch that was preserved almost intact by the "scheme of Russian history": the organicist perception of nation, the "blood and soil" imagery of national territory, the idealization of the state as a mystic embodiment of the nation's "will," the racialized understanding of the "people." This type of thinking about society was instrumental in producing the ideal of nation-state in the late nineteenth century, and informed the politics of national purges in the 1930s (on political or ethnic grounds). Without dismantling this dominant scheme, Russian society is doomed to reproducing ideologies of variously framed nationalism, and even liberal historians will cultivate in their students the ideal of national purity and domination over "national" territory.

Bibliography

Akunin, Boris. Istoriia Rossiiskogo gosudarstva. Moscow, 2013.

Dvadtsatyi vek Anny Kapitsy. Vospominaniia. Pisma / Comp. E. L. Kapitsa, P. E. Rubinin. Moscow, 2005.

Karamzin, N. M. Istoriia Gosudarstva Rossiiskogo. Vol. 1. Moscow, 2003.

Lemke, M. K. Nikolaevskie zhandarmy i literatura. 1826–1855. St. Petersburg, 1909.

Uvarov, S. S. O nekotorykh obshchikh nachalakh, mogushchikh sluzhit rukovodstvom pri upravlenii Ministerstvom narodnogo prosveshcheniia // Russkaia sotsialno-politicheskaia mysl. Pervaia polovina XIX veka. Khrestomatiia / Comp. A. A. Shiriniants and I. Iu. Demin. Vol. 1. Moscow, 2011. Pp. 303-307.